



Г. АДАМОВИЧ

Наследство Блока

Не думаю, чтобы существовал когда-либо в России поэт, которого при жизни любили так, как сверстники и младшие современники любили Александра Блока. Пушкин? Нет, при всем увлечении его поэзией в двадцатых и тридцатых годах прошлого века, подлинное признание Пушкина и настоящая оценка его значения пришли позднее, после того, как гимназист-Писарев (да, гимназист, — но даже в озорстве своем какой талантливый, как много обещавший гимназист!) вдоволь наиздевался над «миленьким, маленьким Пушкиным»¹, после речи Достоевского², полной фантастических домыслов и догадок, но несомненно положившей начало новому, углубленному взгляду на «Онегина» и все пушкинское творчество. Некрасова любили до слез, до тех «рыданий над книжкой», о которых говорил, помнится, еще Треплев в «Чайке», но любили вопреки мнению знатоков, дружно утверждавших, что поэзия в некрасовских стихах «и не ночевала»³. О Надсоне или о Бальмонте незачем упоминать: это были метеоры, мерцавшие обманчивым, неверным светом и исчезнувшие, надо полагать, бесследно.

Блок был для современников Поэтом с большой буквы, не то что бы первым по мастерству или чисто литературным достоинствам, а скорей единственным по совпадению с духом эпохи, корифеем, объединителем хора, составленного из противоречивых голосов. Нечто вроде подданства по отношению к Блоку чувствовали, — хотя не всегда открыто признавали, — все те в нашей поэзии, кто был моложе его. С природной своей порывистостью, со своим даром восхищения и преклонения это выразила Цветаева в цикле «стихов к Блоку», где одно стихотворение, — кстати сказать, чудесное, одно из лучших Цветаевой когда-либо написанных, — кончается восклицанием: «Вседержитель моей души!»⁴ Для Ахматовой Блок был «нашим солн-

цем». Даже такой человек, как Ходасевич, менее всего расположенный к порывистости, склонен был другими словами сказать приблизительно то же самое. У меня остался в памяти один позднейший, уже парижский разговор с ним, когда перебрал, — как обычно в таких случаях водится, — одну за другой различные цитаты из блоковских стихотворений, в частности несколько раз повторив строки «Будьте ж довольны жизнью своей...»⁵, Ходасевич сказал: «Что тут говорить, был Пушкин и был Блок... Все остальное — между!» — с интонацией, похожей, вероятно, на ту, с которой Писемский сказал о молодом «офицеришке» Толстом: «хоть перо бросай!»⁶

Блок был прежде всего поэтом поколения, выразившим все то темное, смутное, горестное, — впрочем, и смешанное с какими-то надеждами, — что наполняло умы и души людей, сложившихся в предреволюционные годы. Он сам дал этому поколению имя: «дети страшных лет России»⁷. Для него был у Блока свой особый message⁸, не вполне поддававшийся, конечно, переводу на язык логический, но улавливавшийся современниками в самом тоне его стихов и глубоко их волновавший. Бывали дни, когда, прочитав в каком-нибудь журнале новое блоковское стихотворение, — вот хотя бы эти строки о «детях России», появившиеся в «Аполлоне», — они чувствовали и знали, что прочли нечто для себя крайне важное и оставались под этим впечатлением надолго: всякие другие стихи, даже и те, которые определяются, как «блестящие», «мастерские», казались рядом досужей выдумкой.

Конец Блока, духовное крушение его было в этом смысле не только развязкой его личной драмы, а и событием, которое по тогдашним условиям, по тогдашнему обострению всех ощущений и эмоций, в «разреженном воздухе уходящей эпохи» представлялось событием общенациональным, полным еще неведомого исторического значения, приблизительно как 29 января 1837 года...⁹ Блок казался жертвой, которую приносила Россия. Зачем? Никто не знал. Кому? Ответить никто не был в состоянии. Но что Блок был лучшим сыном России, что, если жертва нужна, выбор судьбы должен был пасть именно на него, — насчет этого не было сомнений в тот вечно-памятный январский день, когда он в ледяном зале петербургского «Дома литераторов» на Бассейной, бледный, больной, весь какой-то уже окаменелый и померкший, еле разжимая челюсти, читал свою пушкинскую речь¹⁰. А ведь споры о «Двенадцати» были тогда в полном разгаре, и несомненно были в зале люди, которым поэма эта представлялась и политическим предательством,

и кощунством! Но даже если они и склонны были, как Зинаида Гиппиус, сказать: «я не прощу никогда», то вслед за ней тут же спешили добавить «твоя душа невинна»¹¹. Заподозрить Блока в расчете и каких-либо сделках с совестью способен был только сумасшедший, а ошибки... кто же в состоянии прожить без ошибок? Не есть ли риск, а значит и возможность проигрыша, одно из условий духовного движения и роста?

Однако все это далеко. Прошло с тех пор тридцать пять лет. Как ни трудно представить себе это людям, его знавшим, Блок был бы в наши дни стариком, более чем «маститым». Не только новые поколения, но и блоковские сверстники и современники вправе спросить себя: что осталось от былых восторгов и головокружений, что с годами развеялось? Время не учит ни безразличью, ни равнодушию, но мало-помалу время избавляет от иллюзий и дает возможность издалека взглянуть на то, что на коротком расстоянии оставалось незаметным. Наши предреволюционные сомнения и надежды, магически Блоком оркестрованные, напетые им на какую-то волшебную пластинку, стали воспоминаниями, — притом такими, к которым теперь и перенестись мыслью трудно без недоумения: о чем они были, откуда, куда, к чему? Остались, значит, стихи, остался блоковский текст, без поддержки извне, без нашего самозабвенного, послушного с ним сотрудничества. Перечтем эти стихи с усиленным беспристрастием, — однако, добавлю сразу, без колебаний: с уверенностью, что о разочаровании или о «переоценке» сколько-нибудь коренной, полной, не может быть и речи.

Но сначала несколько слов о русском символизме вообще, столь мало похожем на символизм французский, с которым его часто связывают.

В лучшем, наиболее органическом, что русские поэты-символисты оставили, есть черта постоянная, объединяющая авторов различных: то, что определялось в те годы, как «трепет», и что было, в сущности, ожиданием какого-то огромного события, как бы уже нависшего над миром, катастрофы, счастья, «преображения жизни», как тогда говорили, — кто знал чего? Андрей Белый язвительно смеялся в своих воспоминаниях о Блоке над адвокатами, игравшими в мистику, утверждавшими, что «посвященный уже шествует по Москве», несшими и другой вздор, — но смеялся над болтунами и шарлатанами, а не над тем, о чем говорили они понаслышке и к чему старались приблизиться. Сам-то он, вместе с Блоком, и был именно одним из людей, которые чувствовали и предчувствовали больше, чем способны были отчетливо выразить. Соловьевских видений

и формул уже не хватало. «Трепет» с каждым годом изменялся в своей сущности, у Блока в особенности, мало-помалу соскальзывавшего от обольстительно-соблазнительного соловьевства к нищему, прозаическому толстовству¹², и именно в силу этого решившегося на горькие упреки по адресу Вячеслава Иванова, безмятежно державшегося на своих метафизических высотах...¹³

Если бы тогда Блоку, Белому или Вячеславу Иванову сказали, что впереди — революция, что это она, а не что другое, составляет содержание их предчувствий, и даже эти предчувствия оправдывает, вероятно, они такое истолкование отвергли бы. Революция пусть и очень большое событие, но все же не такое, какого они, казалось, ждали: не того характера, не того значения! Им нужно было бы что-нибудь вроде Второго Пришествия или светопреставления, чтобы соблюден был уровень надежд, волхвований и заклинаний ... Но теперь, когда умы у нас достаточно охлаждены, не самое ли это правдоподобное объяснение особой сущности русской поэзии начала нашего века, даже у Анненского, от всяких гаданий и прозрений далекого? Никто в те времена не предвидел размаха будущего потрясения, никто не представлял себе, до какой степени смысл и значение революции выйдет за пределы чисто политических рамок. Никто не предполагал, что предстоит, — притом в ближайшие годы, — крушение всего, бывшего в русском строе, в русском жизненном укладе с точки зрения иных крупнейших русских мыслителей — Достоевского, Тютчева, — чуть ли не отражением божественной воли. По Тютчеву, предстояла борьба мрака и света, а Блок ведь говорил не только о «детях страшных лет России», но и о «детях добра и света»¹⁴. Революцию ждали и считали неизбежной давно, в течение долгих десятилетий, и нельзя, разумеется, думать, что былые ожидания никакого воздействия на поэтов-символистов не оказали. Однако элементы рассудочные были в них вытеснены другими, более или менее иррациональными, а общий характер эпохи окрасил целое в свои особые тона. Не думаю, чтобы тревожный и квазирелигиозный характер русской символической поэзии был сколько-нибудь умален, если признать, что другого объяснения — и даже другого обоснования, — у него нет.

Определить с точностью, что такое стихи, что такое вообще поэзия, до крайности трудно. Не легко установить и правильное отношение, правильный «подход» к стихам.

Стихи можно читать, как всякий печатный текст или рукопись, вникая прежде всего в значение слов и общий смысл сказанного. Отношение это в крайних своих формах не только заведомо неправильно, но и просто-напросто абсурдно, однако до сих пор оно очень распространено, даже среди людей образованных, «культурных». Стихи можно и слушать, как слушаем мы музыку, поддаваясь главным образом воздействию ритма и сцепления звуков... Истина, то есть «подход», вернее других соответствующий природе и сущности поэзии, по-видимому, где-то посредине, как и в большинстве случаев. Некоторые поэты — у нас, например, на вершинах творчества Пушкин, а на высотах более скромных, скажем, Гумилев — такое отношение сами внушают, настойчиво его требуют, стремясь в стихах к гармонии стиля и напева.

Блок пушкинской традиции чужд.

Со стилистической точки зрения у Блока уязвимо многое, и даже в те годы, когда словесная расплывчатость оправдывалась восприятием мира и жизни как чего-то преходящего и призрачного, это смущало иных его читателей. У Блока в стихах много «воды», и достаточно сравнить любое его стихотворение с любым стихотворением Анненского — пора, наконец, сказать: единственно возможного, вместе с Блоком, претендента на русский поэтический трон со смерти Тютчева и Некрасова! — чтобы в этом убедиться. Анненский неизмеримо «гуще» Блока, всегда вещественнее его. У Анненского слово значит то, что значит, и, хотя он один из всех русских символистов действительно чему-то научился у Маллармэ и других французов, влияние великой русской прозы было, по-видимому, на него еще сильнее. Не говоря уже о том, что Анненский несомненно «вышел из “Шинели”»¹⁵, — он и стилистически остался несколько прозаичен, вопреки веяниям времени. Впрочем, неизгладимое впечатление произвели на него, классика по образованию, и греки, в частности Эврипид, страстно им любимый.

Блока ничто классическое не привлекало, Блок — ультра-романтик, и для него символизм был именно продолжением романтизма, притом, конечно, немецкого, а не французского. Порой, перечитывая некоторые средние, ординарные блоковские стихи, написанные без подъема, вспоминаешь пушкинские слова о стихах Ленского, тем более что их и легко перефразировать: «темно и вяло», «что символизмом мы зовем»...¹⁶ Блока спасает и возвеличивает в лучшие его моменты именно подъем, дающий его напеву неотразимую силу, именно тот огонь, то отражение «гибельного пожара»¹⁷, в котором он горел и сгорел,

а вовсе не такого рода мастерство, которое можно было бы отделить от самого предмета поэзии, как, например, у Брюсова. Во всяком случае — не мастерство стилистическое.

Не знаю, было ли у него пристрастие к метафорам «как таковым» и считал ли он, подобно многим современным поэтам, русским и в особенности западным, что без образности вообще нет поэзии. Едва ли. Но случалось ему иногда, будто по инерции, нагромождать образ один на другой до совершенной неразберихи — и не в силу творческого метода или принципа, как делает это Пастернак, а скорей потому, что для его «несказанного» слов настоящих не было и подбирал он слова лишь как условные знаки. Сошлюсь в качестве примера на знаменитое стихотворение «Все на земле умрет...», где ради вкушения «иной», неземной сладости поэту советуется «взять свой челн», «плыть на дальний полюс», приучать душу «к вздрагиваниям медленного хлада», и прочее, и прочее... А стихи — дивные в ритмической своей убедительности, в глухой и печальной своей музыке, такие, каких кроме Блока никому и не написать. Надо сделать усилие, чтобы очнуться и спросить себя: что же это все-таки такое, эти челны, эти полярные экспедиции и леденящие вздрагивания и, если это не настоящий челн и не настоящий географический полюс, к чему декорации? После прекрасных первых двух строк, ведя и развивая ту же неотразимую мелодию, не иллюстрирует ли ее поэт некой лубочной картинкой на мистический лад?

Указание на ошибки чутья и вкуса вызовет, пожалуй, гневные возражения. Что за самоуверенность! — возмутятся иные читатели: подумаешь, обнаружил у Блока безвкусицы! Очевидно, свой вкус он, критик, считает непогрешимым! Споров такого рода было много, и далеко не всегда они разрешались в пользу критиков (Белинский считал, например, безвкусным лермонтовского «Ангела»!). Надо поэтому быть осмотрительным. Однако «узкие ботинки», о которых поэт помнит, «влюбляясь в хладные меха», или «французский каблук», вонзающийся в сердце¹⁸, да и кое-что другое, при самой крайней осмотрительности невозможно оценить иначе как досаднейшие срывы... Только вот что следует тут же заметить: если срывается Бальмонт, со всякими «атласными грудями», если срывается Брюсов, что бывало и с ним часто, вплоть до «выключателя», на который следует нажать — или не следует нажимать, не помню точно, — во время любовного сеанса, — получается просто пошлость, иначе не скажешь. У Блока пошлостей нет и быть их не может, — потому что все всегда поддержано у него

изнутри, очищено еще в замысле. Бывают у него слабые строчки, бывают неудачные строчки, но даже и в них еще теплится огонь, не гаснущий никогда.

Умышленно я подчеркнул — может быть, даже настойчивее, чем следовало, — то, что должно быть отнесено к слабым сторонам блоковской поэзии. Незачем закрывать себе глаза на эти слабости, и несправедливо было бы счесть их разбор педантической придижкой или разглядыванием пятен на солнце. За Блока бояться нечего, и чем сильнее свет, наведенный на его поэзию, тем и лучше: это как бы страховка от возможности каких-либо критических пересмотров. Отчасти ведь именно в том величье Блока и открывается, что при несомненной стилистической своей спорности, а порой и тусклости, он все же в состоянии был «глаголом жечь сердца людей»¹⁹, как никто другой из его современников.

Мастерство Блока главным образом ритмическое, и вряд ли можно назвать поэта, у которого интонация и напев имели бы большее значение. Употребляя обычный термин «мастерство», я все же хотел бы оговориться, что и в области ритма Блок был скорей интуитивен, чем сознательно расчетлив и искусен. Но интуиция, то есть в данном случае способность найти напев, наиболее отвечающий смыслу слов, или оборвать его, ввести паузу именно там, где она нужна, интуиция эта никогда ему не изменяла. Благодаря своему удивительному ритмическому дару, своему «абсолютному слуху», Блок достигал подлинной магии в стихах, где стремился выразить основное состояние своей души: темный ужас, ею владевший, и нечто вроде солидарности со всеми людьми перед судьбами, от которых — по Пушкину — «защиты нет».

Есть ли что-нибудь во всей нашей поэзии более завораживающее, чем восьмистишие о мировой бессмыслице:

Ночь, улица, фонарь, аптека... —

где простые, на этот раз не книжные, не условно-символические, не выдуманные слова, вроде ирреальных челнов и полюсов, в точности отвечают такой же простой, как бы неумолимо-простой, безысходной мелодии текста. При одном воспоминании о таких блоковских удачах, убеждаешься, что своим, пусть и окольным, путем он достигал цели, которой стихотворцы, изощрившиеся в искусстве «делать стихи»²⁰, не достигнут ни-

когда, даже с точки зрения «делания». Не потому, конечно, Блок велик, что он был возвышенно настроен и полон глубоко-поэтических чувств, — и если замечания о его стиле могут кого-нибудь склонить сделать такой вывод, это был бы вывод ошибочный: Блок велик потому, что в его лучших стихах содержание — нередко таинственное, но без нарочитого затуманивания, — слито со всем, что это содержание выражает; потому, что стихи его ни о чем не рассказывают, но все передают; потому, наконец, что стихи его не «о чем-то», а само это «что-то».

Блок не был мастером в каком-либо школьном смысле, и, если бы он свою школу создал, это была бы, вероятно, школа плохая. Учиться у Блока в формальной области почти нечему, а приблизиться к нему, без подделки и пародии, в силах только тот, кто сколько-нибудь с ним схож. В тех случаях, когда Блока оставляло вдохновение — или когда он требовал от своего вдохновения того, к чему не было оно склонно, — получалось у него нечто далеко не перворазрядное. «Скифы», например: риторика, декламация, с отдельными ослепительными проблесками, но в целом — работа на тройку с плюсом. Не говоря уж: о «Клеветникам России», вещи тоже риторической, но блестящей именно в качестве «упражнения на заданную тему», Брюсов, вздумай он написать «Скифы», написал бы их лучше Блока, и, пожалуй, сильнее Блока оказался бы даже Макс Волошин: риторика была их делом, их призванием. Однако, когда Блок попадал в свой тон, в свою линию, Брюсов с Волошиным были в сравнении с ним грубыми ремесленниками, не Сальери рядом с Моцартом, а людьми, знающими толк в азах и прописях искусства, но не подозревающими (во всяком случае, не показавшими этого на практике), что азы и прописи существуют исключительно для того, чтобы их узнать, понять, усвоить — и забыть. Бунин где-то говорит о Чехове, что он писал «небесно» (кажется, об «Архиерее»). Так и Блок иногда писал «небесно». Да, иногда, не всегда ... Но поэта и надо судить по «иногда»: десяти-пятнадцати таких небесных «иногда» достаточно для бессмертия.

Что составляет сущность поэзии Блока и дает ей смысл? Надеюсь, нет в наши дни комментаторов, которые решились бы обстоятельно излагать своими словами то, что Блок будто бы «хотел сказать». Если бы такая задача могла быть успешно выполнена, следовало бы заключить, что Блок — не поэт.

Вспомним строки его о детях «добра и света»: едва ли не в них — ключ к его творчеству, разгадка особого характера это-

го творчества ... «Дитя добра и света». Для Блока мир, его окружавший, — со всем тем упоительным, восхитительным, единственным, к чему никакие потусторонние видения вкуса у человека не отобьют, — был все же миром «страшным», и воля Блока была направлена к тому, чтобы его изменить, притом в двойном смысле: первичном и другом, метафизическом, однако для него ничуть не менее реальном. Блок не бежал из «страшного мира», а, наоборот, видел в поэзии помощь «добру и свету», с судьбой которых связывал и свою судьбу, и судьбу всех людей. Я упомянул выше о «солидарности», которая при чтении блоковских стихов мало-помалу выделяется среди случайных мотивов, как одна из основных его тем, пожалуй, даже самая основная: да, солидарность — или, лучше, круговая порука. Оттого поэзия Блока так и действенна, что при неумолимой, драматической последовательности во внутреннем развитии она до крайности антиэгоистична и вся проникнута сознанием ответственности всех за все, с очевидной готовностью поэта первым принять возмездие, стать первой жертвой. «Дай мне руку, товарищ, друг»: наиболее блоковские из блоковских стихов это неизменно и говорят, и нет в них ничего патетичнее иных просительных интонаций: «Анна, Анна, сладко ль спать в могиле?», «В самом чистом, в самом нежном саване сладко ль спать тебе, матрос?»²¹ Все кончено, надеждам больше нет места, но камнем человек не стал и образу и подобию своему по-прежнему верен.

Блок духовно щедрее, неизмеримо расточительнее Анненского и оттого выигрывает в сравнении с ним. У Анненского при всей его щемящей «шинельности» чувствуется осторожность, сдержанность в излучении энергии, и не случайно Вяч. Иванов в статье о нем и его последователях обронил жестокое, тончайшее замечание о «скупых нищих»²². В дополнение к этим двум словам, а отчасти и в возражение им, можно было бы сказать многое, но есть в них и доля правды... Блок к скупости органически не способен, как и не способен к расчету. Блок — там, где остальные люди, Блок заодно с ними, что бы ни случилось, и этим — не чем другим — объясняется, отчего он теснее Анненского связан с эпохой, а частью и теряет, вместе с ее исчезновением, былую свою притягательную силу. Блок не способен писать «для вечности», будучи свидетелем и участником некоторого исторического периода в жизни России: ему очевидно представлялось непреложным долгом, да и единственной возможностью, жить в своем времени, пусть и с риском преимущественно временное отразить. Это было для него тем есте-

ственнее, что время его оказалось исключительно тревожно и само собой толкало сознание к мыслям и чувствам, к сомнениям и вопросам, от «вечности» не очень и далеким. Пожалуй, кое в чем Блок стал менее убедителен, чем был сорок лет тому назад, да и мы кое к чему «оглохли», выражаясь его языком. Но связь свою со временем Блок все-таки преодолевает тем, что по натуре своей не способен смешать ее со злободневностью: «прошлое страстно глядится в грядущее, нет настоящего — жалкого нет»²³. Он писал о России, он думал о ее участи, о значении и смысле ее исторических несчастий, о двоящейся, полудемонической, полуангельской сущности искусства, с «роковой о гибели вестью»²⁴, рано или поздно становящейся для художника достоверностью, — а за этим было недоумение, которое с первым человеком на земле возникло и с последним умрет: кто я? откуда? что значит все то, что вокруг себя я вижу?

Неотразимость блоковских стихов держится еще и на том (подчеркиваю: и на том, — а в статье, которая претендовала бы на полноту, таких «и» должно бы оказаться много), что у него поистине был «песен дивный дар», соловьиный голос, страдивариусовская скрипка в руках, какой давно в русской поэзии слышно не было. Помнит ли читатель «То не ели, не тонкие ели...» из «Ночных часов»? Или «О, весна без конца и без края...» Когда о других поэтах говорят «пел», «поет», это условное выражение. Для Блока оно почти точно.

Несомненно, в самых существенных чертах своей поэзии Блок продолжает Лермонтова, хотя о Лермонтове мы можем больше догадываться, чем действительно судить, из-за количественной скудости того, что успел он оставить драгоценного и волшебного. От Лермонтова — драматизм внутренней биографии. Круговая порука тоже — от Лермонтова. А главное — в отношении к творчеству: Пушкин в поэзии ищет совершенства, Лермонтов в поэзии ждет чуда — и свое «бессмысленное мечтание» передал Блоку.

Ко времени выхода в свет «Ночных часов» — Блоку было тогда около тридцати лет — следует, мне кажется, отнести расцвет его творчества, длившийся до революции или немногим менее. Стихи этого периода — «На поле Куликовом», «Художник», «Шаги Командора», «Пляска смерти» и другие — полны мужественной силы, недостававшей Блоку в юности. Чувствуется в них истинная зрелость поэта, гармония устремлений, остановка в зените. Гумилев, помнится, писал о «царственном

безумии, влитом в полнозвучный стих», и по не совсем для меня понятному скачку мысли добавил, что оно «достойно Байрона»²⁵. С Байроном или без Байрона, оценка была верная*.

Что было потом? Стихи, включенные в «Седое утро»²⁶, с формальной точки зрения, пожалуй, самые искусные из всего Блоком написанного, однако разъедаемые каплей серной кислоты, в них попавшей, — будто внушены они сыном, иронизирующим над «промотавшимся отцом»²⁷ еще при его жизни...

Он нашел весьма банальной
Смерть души своей печальной²⁸.

Очень искусно сказано: вкрадчиво, ядовито-насмешливо, превосходно! Дисгармония, вносимая непривычным в лирике эпитетом «банальный», да еще с «весьма» в придачу, — по неожиданности прозаического эффекта достойная Анненского, — сразу действует, «доходит». Но не подозрительна ли эта ирония? «Над кем смеетесь, над собой смеетесь?»²⁹ Нет ли в странно-радужных переливах настроений, отраженных в «Седом утре», в причудливости эмоций, прежде Блоку чуждых, чего-то, смутно напоминающего разложение материи или организма, еще недавно цельного. «Утреет. С Богом! По домам»³⁰. К утру, к утреннему отрезвлению после ничего не давших соблазнительно-мистических ночных пиршеств давно уже шла поэзия Блока, но в последнюю минуту, вместо бесстрашного взгляда в лицо истине, какова бы она ни была, появилась в ней усмешка — двусмысленная, блудливая, уклончивая, как улыбка леонардовской Моны Лизы по Флоренскому (в замечательной его книге «Столп и утверждение»)³¹.

Как это случилось, почему — Блок, вероятно, сам не знал. Но о возможности духовного умирания, и даже смерти, задолго до исчезновения физического, он говорил не раз, и с такой настойчивостью, что, по-видимому, опыт по этой части у него был. «Живым и страстным притворяться» — как мертвец на балу, у «хозяйки-дуры и супруга-дурака»³², — большой охоты у него не было: он над собой усмехался, но состояния своего не скрывал.

* По поводу «Куликова поля» Бунин как-то мне сказал: «Послушайте, да ведь это же Васнецов». На словах я, как водится, запротестовал, а про себя подумал: «Как верно, как убийственно-метко». Да, Васнецов, то есть маскарад и опера... Но тут мы возвращаемся к стилю, а если в «Куликово поле» вслушаться, то чудится, что татарские орды где-то в двух шагах, схватка неминуема и отстоять надо не древнерусские города, а что-то такое, без чего нельзя жить.

Потом была революция, «Скифы», «Двенадцать», самое знаменитое из произведений Блока, а по распространенному мнению и самое значительное. Над тем, что эта поэма значит и как следует истолковать появление Христа в заключительных строках ее, бьются люди до сих пор: бьются и спорят. Каждое толкование по-своему законно, хотя ни одно из них не исключает возможности другого, — и еще раз скажу: Блок не был бы поэтом, если бы дело обстояло иначе. О «Медном всаднике» было ведь тоже немало споров, однако и до сих пор твердо не решено, направлена ли поэма к вящей славе «державца полумира» или к скрытому осуждению его.

Вспомнил я о «Медном всаднике» не совсем случайно. При появлении «Двенадцати» блоковскую поэму сравнивали с пушкинской и без колебаний приписывали ей одинаковое значение в нашей литературе³³. Было действительно в ней что-то опьяняющее, затруднявшее беспристрастный анализ, — кто же станет это отрицать? Откровенно признаюсь, что и мне в те годы параллель «Медный всадник» — «Двенадцать» не казалась преувеличенной, а если я об этом упоминаю, то лишь для того, чтобы избежать подтасовки фактов во всем знакомом жанре: «я всегда утверждал», «я и тогда предвидел» и так далее.

Но поэма выдохлась. Она насыщена злободневностью и потому увяла, обветшала. В ней нет — как бывало в лучших стихах Блока, — второго подводного течения, не говоря уже о волнах таинственной и вещей музыки, поднимавшейся когда-то из глубин его сознания. Все ясно, нечего перечитывать. Остроумно, в особенности начало, но как-то непривычно мелко, бойко, чуть-чуть плоско и суетливо, — и как еще раз не вспомнить Пушкина: «служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво!»³⁴ Это сказано на веки веков, это должны бы усвоить, как абсолютную истину, все поэты, хотя это и вовсе не значит, конечно, что стихи следует писать в духе ломоносовских од. Нет, это значит... в сущности, это значит именно то, что Блок всем своим умом и сердцем знал, чувствовал раньше, до «Двенадцати». Христос в конце, «в белом венчике из роз»... об этом и говорить тягостно: не кощунство в обычном смысле слова, не политическая ошибка, а образ невозможный, мучительно-легковесный и фальшивый — потому что нельзя же Христом пользоваться для литературного эффекта! А здесь именно эффект, под занавес. Блок ужасно волновался перед смертью, с содроганием вспоминал «Двенадцать» и даже в бреде говорил о них. Уверен, что не только политические сомнения терзали его, не брань бывлых друзей, не одобрение друзей новых, а то —

и даже главным образом то, — что было грехом на его художнической совести. Слишком глубоко было у него сознание ответственности поэта за каждое слово, чтобы оплошность столь грандиозная и столько «малых сих» соблаздившая, столько откликов вызвавшая, не представлялась ему тяжким, непростительным преступлением.

Уверен еще и в другом: поэма «Двенадцать» если в нашей литературе и останется, то к сокровищам ее причислена не будет. Былые страсти улягутся, да, в сущности, улеглись они уже и теперь: кто же в самом деле станет теперь выискивать в этом ряде набросков, в этих горьких, растерянных и сбивчиво-живописных вариациях на октябрьские темы какую-либо политическую идею? Будет, вероятно, признано, что поэма искусно написана. Но того, что в истинной и бессмертной поэзии утоляет духовную жажду человека — как в мире физическом: ледяное, горное, прозрачно-бездонное озеро, — этого будущее в «Двенадцати» не найдет.

Не только к роману, но иногда и к статье применимы слова о магическом кристалле³⁵, через который не совсем ясно, к чему она придет. Мне казалось, что для поэзии Блока настало время окончательных суждений. Но нет, рановато еще подводить итоги, и достаточно освежить впечатления — кое-что перечесать, другое вспомнить, над третьим дольше, чем прежде, задуматься — чтобы противоречивые доводы с прежней силой вступили в борьбу.

Он был сыном великого русского девятнадцатого века и в поэзии своей дал к нему некое послесловие, печальное и несравненно-искреннее. Бывают писатели, глядящие в прошлое, страстно мечтающие о том, чтобы его продолжить, удержать: Бунин, например. Блок не мечтал ни о чем, да ни о чем и не тосковал. Блок носил в себе прошлое, договаривал, дошептывал все то, что когда-то упреками и вопросами взвилось к самому небу. Несомненно, он был последним нашим «кающимся дворянином», и, кстати, ничем другим невозможно объяснить его отношение к революции. Да и хмурая недоверчивость его к русскому культурно-эстетическому возрождению начала столетия, на вячеславо-ивановский или дягилевский лад, внушена была тем же самым. Народничество было его сердцу ближе, чем модернизм, а сознание его заблудилось где-то между этими двумя путями, не найдя себя, в сущности, ни на одном из них.

Сознание это было лишено всякого подобия пушкино-вольтеровской быстроты и точности. Блок мыслил по-своему, но мыслил медленно и как бы оцупью. В нем была скорей мудрость,

чем ум, а среда и эпоха навязали этой мудрости многое такое, что должно было бы остаться ей чуждо. Гибнет «Титаник», например. Блок признается в письме, что очень этому рад: «есть еще океан!»³⁶ Когда люди, по разным причинам от Блока отталкивающиеся, на такие его строки указывают, возразить нечего: действительно, стыдно читать! Но эта мистическая чепуха насчет океана принадлежит среде, а Блок повинен лишь в том, что не успел весь прах ее от ног своих отрясти.

Замечательно в стихах его то, что каждое из них продолжает и дополняет другое, как комментарий к его внутренней биографии, с отчетливо намеченной линией восхождения и падения. Пожалуй, на этом и основана особая действенность блоковских стихов: читатель мало-помалу превращается в свидетеля драмы, притом свободной от влияния житейских невзгод, — как в случаях сравнительно мелких, скажем, у Есенина. Ни притворства, ни позы, ни лжи, ни кокетства, ни жалоб. Драма Блока развивается вне вмешательства каких-либо случайностей, исключительно в силу того, что был он человеком, который искал «не счастья, а правды»³⁷, как было о нем справедливо сказано.

Ни о ком другом в нашей новой литературе повторить этих слов было бы нельзя. Оттого-то Блок и был в ней единственным «вседержителем душ»³⁸. Оттого книги его — не сборники разных стихотворений, хороших или плохих, слабых или восхитительных, а летопись удач и неудач в каком-то таинственном деле, к которому обыкновенным смертным — пусть и очень талантливым писателям — доступа нет... Боюсь под конец, «под занавес» впасть в то же туманное и бесконтрольное красноречие, о котором только что упомянул в связи с «океаном». Что это за дело, в которое вовлечен был Блок? Может быть, вовсе и нет его, может быть, это всего только мираж? Не знаю, да и никто не знает. Но даже если в блоковских формах это только мираж, поэт, оказавшийся в силах его создать, коснулся основ и свойств человеческого духа, — иначе не было бы ему в ответ всех этих длительных, протяжных откликов. Какая-то вечная, глухая борьба в мире идет. С Блоком мы, по глубочайшему нашему ощущению, — и ничуть не забывая при этом о его ошибках, колебаниях и уступках, — с Блоком мы на верной, праведной стороне, на стороне «добра и света». Оттого и отречение от него, тоже по глубочайшему ощущению, ничем нельзя было бы оправдать, как ничем нельзя оправдать предательства.

